

зерцание не обязательно должно исключать действия.

В то же время эмансипацию не следует рассматривать как исторический контекст того, как зритель научается воспринимать нечто радикально новое. Не приведет ли такая политизация взгляда к квиетизму? Нисколько. И именно здесь Рансьер указывает на связь политики с искусством. И если это обстоятельство не является ни главным аспектом реальности, ни способом ее изменить, то, по крайней мере, оно преобразует сам способ видения.

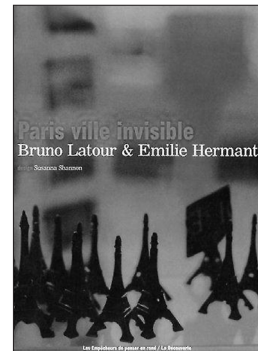
На нескольких страницах (87–91) Рансьер анализирует работу португальского кинематографиста Педро Коста, посвященную группе маргиналов из Лиссабона и капвердинским эмигрантам. Она никак не интерпретирует общественную ситуацию, не призывает зрителей к прямым действиям. Скорее, в фильме показывают тех, кто в несправ-

едливости скрывается от несправедливости. Пластиковые бутылки в пьесе, бигуди в квартире без электричества — эти объекты преобразуют пространство бедности в натюрморт. Что не означает, будто в бедности есть красота. Однако ее можно обнаружить, если вспомнить, что нищие — это не просто пассивные зрители, предоставленные самим себе. Кино способствует перемене нашего восприятия, которая может выступить основой для появления новых форм «политической субъективации». Давний ученик Альтюссера называет «эстетическим разрывом» (*coupure esthétique*) непреодолимое пространство между произведением искусства и изображенной на сцене общественной реальностью. Не нуждаясь в других пояснениях, этот разрыв объясняет, почему мы научаемся видеть (так же, как и действовать) в то время, когда мы смотрим.

Михаэль Фёссель

Париж — незримый город: опыт аналитической рецензии

Итак, перед нами очередной иллюстрированный путеводитель по Парижу — «городу Света, столь открытого взору художников и туристов». Так и кажется: сейчас нам вновь продемонстрируют залитую электрическим сиянием тысяч лампочек Эйфелеву башню, поведут на Монмартр, поставят перед *Arc de Triomphe*. Но нет. Вместо этого читателя/зрителя ждет путешествие в совсем другой город, а именно в невидимый для туриста Париж вещей, чья зримость творится повседневной деятельностью техников, инженеров, социальных служб, сил полиции, водопроводчиков. Париж обыденности *versus* Париж глянцевого издания. Но подлинная цель текста Латура и фотографий Эрман — в ином. Это путешествие даст возможность по-новому посмотреть



Bruno Latour, Emilie Hermant. Paris ville invisible. P.: Le Plessis-Robinson, La Découverte, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 1998. — 159 p.

на теоретический вопрос о природе социальной связи и на те весьма специфические способы, которые делают общество чем-то элюзивным, убегающим, ускользающим, а реальный город — похожим на электронные утопии и сюрреалистские «Незримые города» Итало Кальвино. Нам также обещают шанс вздохнуть легче и свободнее в том случае, если мы несколько изменим нашу социальную теорию.

Как и положено путеводителю, все начинается с панорамы — с выполненной в керамике панорамы Парижа 1930-х годов на крыше универмага «Самаритянка». Позволит ли она увидеть Париж? Весь Париж? Целиком, за один взгляд? Вот ключевые для Латура вопросы, которые тут же приводят в движение основные концептуальные различия теоретической и «социологической» мысли: единое/многое (Париж *versus* множество Парижей), реальное/виртуальное (Париж с новыми зданиями и небоскребами *versus* Париж 1930-х), зримое/незримое и т.д. Задача состоит в том, чтобы, выйдя за пределы зримо-го Парижа, окинутого единым взглядом, рассмотреть множество незримых Парижей, которые сетью охватывают весь город, собственно и делая возможным его «обычный» вид.

Для этого из «реальной» перспективы мы с вами должны переместиться в плазму компьютерных мониторов. По замыслу Латура, так мы придем к пониманию тупиковости привычных двух типов описания социальности — фрагментирующего и унифицирующего. Оба они возникают из иллюзии наличия стабильной и неизменной точки отсчета, которая ранее позволяла конституировать

то, что называлось обществом. Но теперь она исчезла, а место общества занимает нечто, что может быть схвачено не категориями единства или множества, синтеза или анализа, но на путях совершенно иной мысли. И здесь становится понятным, почему книга Латура немислима и незрима без фотографий Эрман, почему это не обычный трактат по социологии. Сам ее метод предполагает истолкование фотографий, и исследователь латуровского толка должен угадывать в быстро сменяющихся друг друга снимках траектории и фосфоресценции социального, уметь их последовательно читать, пусть даже и с риском разорвать данный континуум своей дисперсной мыслью.

Такой опыт толкования социального, отправляющийся от процессий снимков и отслеживающий их, и есть незримый город Париж Латура/Эрман. Он представлен множеством моделей, которые показывает фотография и раскрывает теоретизация. Мы не станем пытаться дать тотальное изображение всей картины/карты книги. Как и Латур, мы выхватим несколько примеров из его текста и попробуем описать работу исследователя *in vitro*.

Социальность и горный институт. Высшая школа — один из самых популярных полигонов исследования социальности. Латур начинает с исчезновения зримости в процессе организации «работы» горного института. Для мадам Бэйзаль, составителя расписания, обычная визуальность должна отойти в сторону: прекрасные виды из окон, солнечный свет, окружающий пейзаж должны исчезнуть, чтобы она смогла рассмотреть институт

в его повседневной жизни. Это, впрочем, не значит, что ей грозят утомительные постоянные прогулки по коридорам здания, чтобы встретить студентов, преподавателей и технический персонал. Бэйзаль взирает на них иначе: закрывшись в своей небольшой комнатке, она сидит перед кипами листов, испещренных странными буквами и цифрами, которые отсылают к студенческим группам, номерам аудиторий, фамилиям профессоров. Рядом горит экран монитора, и на нем все то же самое: знаки, знаки, знаки. Ее задача — упорядочивание символов, их координация и выстраивание в последовательности, которые, в свою очередь, отсылают к другим последовательностям. Именно это распределение означающих дает возможность означаемым перемещаться, находить нужное время и место и в конечном счете производить лекции и семинары. Если она попытается, покинув кабинет, дать волю желанию непосредственной визуальности, то ей не откроется ничего. Если же она, напротив, как затворник, как узник Платоновой пещеры, погрузится в ряды знаков, она синоптически увидит все.

Для Латура несомненна ошибочность перешедшей нам от Платона метафизической иерархии, ставящей ясное выше смутного. Лишь оставив свет и погрузившись в темноту знаков, мы приобретаем саму способность видеть. Более того, только так мы и научаемся управлять, упорядочивать, распоряжаться, быть. Латур показывает, что старая романтическая мечта о прозрачном обществе, лишенном расписаний, программ, планов, знаков, — это лишь желание здравого смысла рассматривать общество как диораму, заключенную в тесной ком-

натке. Но, быть может, этот анализ говорит в пользу Фуко и фукольдианцев разных мастей и оттенков? Быть может, мы имеем дело с тайной властью, из своего темного закоулка незримо и молча всем распоряжающейся? Отнюдь: вот оно, расписание, — оно перед глазами и мадам Бэйзаль, и декана Фрадэ, и преподавателей, и студентов. Оно активно, деятельно, оно все структурирует, но лишь для тех, кто следует указаниям и вехам его знаков и их сцеплений.

Больше нет ни солнечной прозрачности старых социальных теорий, ни фукольдианской подозрительности: только бег символов на небольших листках бумаги — знаков, сцепленных с другими знаками и воздействующих на наши решения в том случае, если мы умеем читать следы. Фотографии мадам Бэйзаль с ее документами, бумагами, схемами, компьютерными графиками, переходящими в доски расписаний, в таблички с номерами аудиторий, в указатели и стрелки, ориентирующие студентов и профессоров в лабиринте пространства и времени, задают некую модель социального или его описания. Непосредственная зримость оказывается препятствием для «подлинного» видения, а платоновская пещера знаков — настоящим условием взгляда, управления и бытия. «Либо я действительно вижу, и тогда я не вижу ничего, есмь ничто; либо я ничего напрямую не вижу, лишь смо- трую на следы, и тогда начинаю видеть реально, и постепенно становлюсь кем-то». А организующий дискурс оказывается трансформацией, переходом, приливом и отливом знаковых сочетаний, руководящих и направляющих нас почти в буквальном — физическом — смысле слова.

Если нет примата «света» над «тьмой», нет и подчинения социального природному, нет господства естественной географии над социологией. Природное (например, снимок со спутника, показывающий Париж «как он есть на самом деле») тоже есть лишь набор знаков, образ, создаваемый в небольших комнатках, где декодируются, упорядочиваются, переходят в графики лишённые сами по себе смысла «показания» приборов спутника. А мы смотрим на готовые открытки с видами Парижа из космоса, и кажется, что Большое и Природное расставили все по своим местам, что мы будто бы причастились благодати Божественного взгляда, смотрящего из ниоткуда. В действительности же мы смотрим лишь на маленькие картинки с крохотными значками, то есть имеем дело с медиумом, институцией, графической репрезентацией и шкалой, а вовсе не с Природой и Реальностью.

Город — это его улицы, делающие его тем, что он есть. На первый взгляд улица — нечто реальное, та рамка, в которой мы все живем и движемся. Но так ли это? Видим ли мы улицы? И что значит «видеть улицу»? Найти некий дом? Чтобы понять социальность горного института, нужно было покинуть коридоры и аудитории, перестать обращать внимание на толпы студентов, на плутающих в поисках нужной таблички профессоров и войти в маленькую комнату мадам Бэйзаль. Так и в случае обыкновенной улицы мы ничего не добьемся, если просто взглянем на нее; зато многое откроется благодаря маленькому помещению *Service Technique de la Documentation Foncière*, где карты, схемы и компьютеры создают и пересоздают системы городской номенклатуры.

Здесь творится соответствие между указателями на стенах домов и табличками карт, благодаря которому происходит различение чего бы то ни было в джунглях Парижа, нагруженных символами всех родов. Именно тут производится корреляция геодезических обозначений и имен, которая затем ляжет в основу циркулирования любой документации, обеспечивающей функционирование города и горожан в режиме повседневности. Снова реальность видимого становится менее действительной и заметной по сравнению с той незримой последовательностью следов, которая исходит из крохотного помещения. Снова в темноте не скрывается никакой особой инстанции надзора, изготовившейся к прыжку, — лишь несколько человек, ни над кем не властвующих и никого не подавляющих, а только соотносящих различные ряды символов, делая возможным оборот бумаг и вместе с тем какую бы то ни было осмысленность движения по улицам города. Так, категория социального пространства, топоса, локуса, места становится не независимым способом существования социального, но координацией следов, пересечением знаков, правила которых устанавливаются в одном парижском бюрократическом офисе.

Не лучше и не хуже обстоит дело и с самыми фундаментальными понятиями социологии и социальной жизни, без которых европейская мысль Нового времени не могла до сих пор обойтись. Пусть городское пространство растворяется в трансформации знаков, но ведь «я» — не знак, а плоть и кровь, которые обладают вдобавок еще и свойством прозрачности. Но и этой самоочевидности

суждена та же участь. Само по себе «я» — лишь дейктикон, указатель некоей идентичности, которая, в свою очередь, задается очередным пересечением различных примет, сведений и изображений. «Я» появляется в результате сопоставления одного с другим: лица с фотографией, паспортных данных с возрастом. *Его* бытие как *его* определяется в конечном счете свидетельством о рождении, то есть восходит к документу и существует, по Латуру, лишь посредством

него. А значит, для «теории социального» «я» как пустой дейктикон не может быть клеточкой и основой, индивид — не фундамент социальной теории, не исходная единица. За ним лежат «офисы, коридоры, инструменты, файлы, стрелки, линии, команды» — все то, что обычно презрительно называется бюрократической волокитой и что на самом деле обуславливает «подвижную репрезентацию социального», начиная с тождественности самого «я».

Анастасия Климанова